

# I. Моя мать

Кормила ли меня мама? Или меня вскармливала крестьянка? Я не знаю. Какую бы грудь я ни сосал, я не помню ни одной ласки из тех времен, когда я был совсем маленьким: меня не баловали, не поглаживали, не целовали; меня часто били розгами.

Моя мать говорит, что детей нельзя баловать, и она бьет меня розгами каждое утро; когда у нее нет времени утром, то в полдень, редко позже четырех часов.

Мадемуазель Баландро добавляет туда жир.

Это добрая старая дева лет пятидесяти. Она живет этажом ниже нас. Сначала она была довольна: так как у нее нет часов, это давало ей время. «Влин! Влан! Зон! Зон! — вот маленького Чоза бьют; пора готовить мой кофе с молоком»

Но однажды, когда я поднял свою юбку, потому что мне было слишком жарко, и вышел подышать воздухом между двумя дверями, она меня увидела; ей стало жалко мою задницу.

Сначала она хотела показать её всем, собрать соседей вокруг; но она подумала, что это не способ спасти её, и придумала что-то другое. Когда она слышит, как моя мама говорит мне: «Жак, я тебя отшлепаю!

— Мадам Вингтрас, не утруждайтесь, я сделаю это за вас.

— О! Дорогая мадемуазель, вы слишком добры!»

Мадемуазель Баландро уводит меня; но вместо того, чтобы отшлепать меня, она хлопает в ладоши; а я кричу. Вечером мама благодарит свою замену.

«К вашим услугам», — отвечает храбрая девушка, тайком суя мне конфетку. Мое первое воспоминание связано, таким образом, с поркой. Второе — полно удивления и слез.

Это происходит у угла костра из хвороста, под камином старого камина; мама вяжет в углу; моя кухня, которая служит горничной в бедном доме, расставляет на обглоданных досках несколько блюд из голубой фаянсовой посуды с петухами с красными гребнями и голубыми хвостами.

У отца в руке нож, и он вырезает кусок ели; стружки падают желтые и шелковистые, как лоскутки лент. Он делает мне тележку из полосок свежего дерева. Колеса уже вырезаны; это кружки картофеля с кружком коричневой кожуры, которая служит колесным диском... Тележка вот-вот будет готова; я жду, взволнованный и с широко раскрытыми глазами, когда мой отец вскрикивает и поднимает руку, полную крови. Он вонзил нож себе в палец. Я бледнею и иду к нему; меня останавливает сильный удар; это мать ударила меня, с пеной у

рта, сжав кулаки.

«Это твоя вина, что отец поранился!»

И она выгоняет меня на темную лестницу, снова ударив лбом об дверь. Я кричу, прошу пощады и зову отца: я вижу, в своем детском ужасе, его руку, висящую, всю изрезанную; это я в этом виноват! Почему мне не позволяют войти, чтобы узнать? Потом меня побьют, если захотят. Я кричу, мне не отвечают. Я слышу, как переставляют графины, как открывают ящик; накладывают компрессы.

«Ничего страшного, — говорит мне кузина, —» складывая полотенце, испачканное кровью.

Я рыдаю, задыхаюсь: появляется мама и толкает меня в комнату, где я сплю, где я боюсь каждую ночь.

Мне, наверное, пять лет, а я считаю себя отцеубийцей.

Но ведь это не моя вина!

Разве я заставил отца сделать эту тележку? Разве я не предпочел бы, чтобы кровоточил я сам, а ему не было больно?

Да — и я царапаю себе руки, чтобы мне тоже было больно.

Дело в том, что мама так любит моего отца! Вот почему она вышла из себя. Меня учат читать по книге, где крупными буквами написано, что нужно слушаться отца и мать: мама поступила правильно, когда меня отшлепала.

Дом, в котором мы живем, находится на грязной улице, по которой трудно подниматься, с вершины которой открывается вид на всю округу, но по которой не проезжают экипажи. Туда добираются только телеги с дровами, запряженные волами, которых подгоняют кнутом. Лоб опущен, шея вытянута, ноги скользят; языки у них висят, а кожа дымится. Я всегда останавливаюсь, чтобы посмотреть на них, когда они везут вязанки и муку к пекарю, который находится на полпути; я одновременно смотрю на белоснежные буханки и большую красную печь — их загружают в печь большими лопатами, и пахнет корочкой и углями!

Тюрьма находится в конце улицы, и жандармы часто ведут заключенных в наручниках, которые идут, не глядя ни вправо, ни влево, с неподвижным взглядом и больным видом.

Женщины дают им мелочь, которую они сжимают в руках, склоняя голову в знак благодарности.

Они совсем не выглядят злобными.

Однажды одного из них увезли на носилках, полностью накрытого белой простыней; он перерезал себе запястье пилой после того, как совершил кражу; он потерял столько крови, что все думали, что он умрет.

Мне всегда хочется смеяться, когда мы молимся! Как бы я ни старался сдерживаться, я молю Бога, прежде чем опуститься на колени, клянусь Ему, что смеюсь не над Ним, но как только я опускаюсь на колени, это сильнее меня. У моего дяди есть бородавки, которые чешутся, и он их чешет, а потом кусает; я просто взрываюсь от смеха. — Моя мама, к счастью, не всегда это замечает, но Бог, который видит все, что он может подумать?

Но я не смеялся на днях! Мы ужинали дома с моей тетей из Вурзака и моими дядями из Фаррероля; мы как раз ели пирог, когда вдруг потемнело. Нам было жарко все время, мы задыхались, и мы сняли одежду. Вдруг загредел гром. Дождь лил как из ведра, крупные капли шлепали по пыли. В воздухе чувствовалась прохлада, как в погребке, и запах пороха; на улице ручей бурлил, как кипящая вода, а потом стекла закричали: пошел град.

Мои дяди и тётки переглянулись, и один из них встал; он снял шляпу и начал читать молитву. Все стояли с непокрытыми головами, с молодыми или старыми лицами, полными печали. Они молили Бога не быть слишком жестоким к их полям и не убивать своим белым свинцом их цветущие урожаи.

В тот момент, когда все сказали «Аминь», градина пролетела через окно и попала в стакан.

Мы родом из деревни:

Мой отец — сын крестьянина, который гордился своим сыном и хотел, чтобы тот учился на священника. Сына отдали к дяде-священнику, чтобы он выучил латынь, а потом отправили в семинарию.

Мой отец — тот, кто должен был стать моим отцом, — не остался там, захотел получить степень бакалавра, добиться почестей и поселился в маленькой комнате в глубине темной улицы, откуда он выходит днем, чтобы давать несколько уроков за десять су за час, и куда возвращается вечером, чтобы ухаживать за крестьянкой, которая станет моей матерью и которая на данный момент выполняет свои обязанности преданной племянницы у постели больной тети.

Из-за этого мы ссоримся с дядей-священником, прощаемся с церковью; мы любим друг друга, мы «согласны», мы женимся! Мы также в плохих отношениях с отцом и матерью, которым пришлось выносить предупреждения, чтобы довести до конца этот брак, рожденный бедствием и нищетой.

Я — первый ребенок этого благословенного союза. Я появился на свет в старой деревянной кровати, в которой обитают деревенские клопы и семинарские блохи.

Дом принадлежит пятидесятилетней даме, у которой осталось всего два зуба, один коричневый, а другой синий, и которая всегда смеется; она добрая, и все ее любят. Ее муж утонул, делая вино в чане; это заставляет меня много мечтать и вызывает у меня большой страх перед чанами, но и большую любовь к вину. Оно должно быть очень хорошим, раз господин Гарнье — так его зовут — выпил его до самой смерти. Госпожа Гарнье каждое воскресенье пьет это вино, которое пахнет мужчиной, которого она любила: ботинки покойного тоже стоят на доске, как две пустые кружки.

В доме, где я живу, неплохо пьянствуют.

Один священник, живущий по соседству, никогда не встает из-за стола, не выпучив глаз, не облив щеки потом и не покраснев в ушах. Из его рта вырывается дыхание, пахнущее бочкой, а нос его похож на облущенный помидор. Его breviарий пахнет мателоттом.

У него есть служанка, мадемуазель Анриетта, на которую он смотрит косо, когда выпьет. Иногда о ней и о нем шепчутся по углам.

На втором этаже живет месье Грелен. Он лейтенант пожарных, и в день Троицы он командует на площади. Месье Грелен — архитектор, но говорят, что он в этом ничего не смыслит, что «именно из-за него Бреюиль всегда полна воды, что он обошёлся городу в 50 000 франков и что, если бы не его жена... » Говорят, не знаю что, о его жене. Она милая, с большими черными глазами, маленькими белыми зубами, небольшими усами над губой; она всегда раздувает юбку и стучит каблуками, когда идет.

У нее южный акцент, и мы иногда развлекаемся, подражая ей.

Говорят, что у нее есть «любовники». Я не знаю, что это такое, но я точно знаю, что она добра ко мне, что она, мимоходом, похлопывает меня по щекам, и что мне нравится, когда она меня целует, потому что от нее пахнет приятно. Люди в доме, кажется, немного избегают ее, но не показывают этого.

«Так вы говорите, что у нее все хорошо с помощником?»

— Да, да, как нельзя лучше!

— Ах! ах! а этот бедный Грелен?»

Я слышу это время от времени, и мама добавляет слова, которых я не понимаю.

«Мы, честные женщины, умираем с голоду. А этим тут места для мужей находят, платья для праздников дарят!».

Разве мадам Грелен не порядочная? Что она делает? В чем дело? Бедный Грелен!

Я был бы гораздо счастливее, будь я сыном Грелена: но вот в чем дело! Заместитель пришёл бы к нам, когда мама осталась бы одна... Мне бы это было совершенно всё равно.

Мадам Тюлье живёт на третьем этаже: вот это честная женщина!

Мадам Тюлье приходит к нам с рукоделием, и она с мамой болтают о соседях снизу, о соседях сверху, а также о соседях из Рафаэля и Эспайли. Мадам Тюлье, когда ее замужем, у нее волосы в ушах, на ногах мозоли; она честнее мадам Грелен. Она глупее и уродливее тоже.

